БАТАЛИЯ

Столяр-краснодеревщик Степан Кочуров, жилистый и угрюмый парень лет о тридцати, прогулял на производстве три дня. Ни с того ни с сего взял да и уехал в город, ни у кого не спросившись. Вернулся в добром расположении духа и, как обычно, к семи утра пришёл в лес-
промхозовскую контору на наряд. Обстучал от снега сапоги, молча пересёк махорочный смог предбанника и чуть не столкнулся нос к носу со старым бухгалтером и нарядчиком Груздевым, изустно звавшимся коротко – Фокич.

Тот, поверх круглых очков, криво сидящих на кончике бугристого носа, гневно смерил Степанову долговязую фигуру и адресовался к мужикам:

– Смотри-ка на него, народ честной! Явился! Явился, даж не запылился! Ту-рист... – Последнее было произнесено с интонацией, содержащей явную издёвку. – А вот ты погоди-ка у меня, мил человек! – погрозил он узловатым пальцем. – Стой здесь!

Степан шумно сглотнул. Работяги, собравшиеся на наряд, поутихли. Фокич вернулся в канцелярию, пошелестел на столе залежами бумаг и, размеренно ступая, вынес на вытянутой руке машинописный лист. Мужики, видя этакую торжественность, едва ли не вытянулись во фрунт. На доске приказов с пожелтевшими прошлогодними графиками поставок древесины, листок выделился белизной и чёткостью формулировок.

Степан подошёл и прочитал: «За нарушение трудовой… недопустимости и во избежание… Кочурова С. П… на нижеоплачиваемую… сроком… Подпись. Печать».

Складировал на пилораме хвойную обрезь. День. Другой. Потом плюнул. «Да шли бы вы все куда положено!» – буркнул он самому себе и, зашвырнув дырявые рукавицы за штабель, подался к магазину.

Дня три Степану никто не мешал. Загул у мужиков на Руси сродни простуде – та же немочь трёхдневная. Чего уж такого необычного, перебесится да и отойдет. С любым может статься, не впервой. Но спустя неделю средь земляков пошёл ропот – положенные сроки вышли, и дело, как скажет Ефрем Рожин, начинает пахнуть авиационным керосином. Встретится, к примеру, Иван Батурин с Семёном Нефедовым да и посетует:

– Степку сейчас видал, опять в лоскуты пьяный, паразит.

– Да что ты? Вот ведь беда-то, – озаботится Семён. – Я, парень, считаю, это все от холостого положения. Пригляду за ним нет, вот и гарцует, как Савраска без узды. Может, нам собраться да поговорить с ним по-мужски! Жалко парня, золотой ведь работник.

– Как по-мужски? По башке ему настучать? Нет, надо с директором, он мужик правильный. Пусть включается, все мы здесь свои да наши, чего тогда скрывать и сторониться.

Директор мужиков выслушал и сказал, что непременно Степана вызовет и побеседует. А вот о чём они говорили с ним, оставалось тайной. К директору снова подходить неудобно, а Степан, по обыкновению, молчал. Но, говорят, нет ничего тайного…

И вот что я скажу!

Если бы вы, предположим, приехав к нам, в Дивную Пожню в гости, встали рано-рано и, стряхнув дремоту, отважно вышли на свет Божий, открылись бы вам, без преувеличения, картины сказочные.

Об эту пору, на едва различимой границе ночи и рассвета, ещё не встречаются прохожие, не сигналят лесовозы и не надо шарахаться от саней. Солнце где-то там, за краем земли, только-только начнет размывать с исподу предутренний край ночи, а фиолетовая сумеречь станет понемногу сползать с небосвода, уплывая за горизонт. Хорошо, если ночью падёт легкий снежок, а день займётся безоблачный и ясный.

И вот трогаетесь вы неспешно по главной улице, испытывая чувство удивительное и отдалённо знакомое. Словно очутились в необычном этнографическом музее под открытым небом. И экспонаты здесь не совсем обычные. Не прялки расписные, не дуги и лубки, не одежда и орудия труда, и даже не крестьянская изба в разрезе, но сказочные теремки, украшенные деревянной кружевной резьбой. И как в настоящем музее трудно найти повторяющиеся экспонаты, так и нет в Дивной Пожне повторов в замысловатой домовой резьбе.

Правда, иногда натыкался бы ваш взгляд на плоские белые стены казённых домов. Новоделами здесь контора, продуктовый магазин и крупноблочное двухэтажное общежитие леспромхоза. Ну а куда от этого денешься? Москва и та не избежала болезненной утраты своего исторического облика.

Здания эти, посёлку, конечно, необходимы, построены были бывшим директором скоренько, выражаясь строительной терминологией, «привязаны» умненько и общей картины не портят. Хорошо также, что пошёл тот директор куда-то там на повышение.

Моду эту, украшать дома резьбой, притащил с далеких северов дед Ефрема Рожина Артемий. По каким причинам он там обретался, не нашего ума дело, а вот рассказы его помнятся.

В своё время выбирался парнишка домой из самой, вы не поверите, Норвегии да поиздержался весь чуть ни до нательного креста. Но, по оказии, был подобран бригадой плотников, что подрядились перебрать избу смотрителю Кижского погоста на суровом озере Онежском. Артёмку для порядка прощупали на предмет пригодности к плотницкому делу и решили, правда, без особой радости, взять. Подсобником.

А потому, как сами были в деревянном рукомесле завидные мастера –
с удалого размаха, из-за плеча топором! зачинивали карандаш. О как инструментом владели! Да и топоров таких сыскать было непросто! Кованые по старинной секретной методе, с малозаметным скосом лезвия к обрабатываемой поверхности. С тщательно выведенным жалом, сберегаемым в кожаной кобуре. С берёзовым, изощрённой геометрии, топорищем под хозяйскую руку, смягчающим отдачу при работе.

Такой топор привычной цены не имел, поскольку являлся и кормильцем, и оружием и, если хотите, другом, в надёжности которого нет нужды сомневаться. Он неотлучно странствовал с хозяином, уютно примостившись сзади за поясным ремнём.

С дедовой подачи и навострился Ефрем приёмам резьбы по дереву, да так, что и деда, и батьку в этом деле превзошёл.

«Кижи, – рассказывал дед Артемий, пока ещё был живой, – одно из чудес свету белого. На острове посреди моря Онежского высятся сказочные храмы – терема.

Сработаны из твердого, что твоё железо, северного леса, триста с лишним лет назад. И храмы те не медью листовой покрыты, но деревянной резной чешуей. А куполов таких на главном храме аж двадцать два!

Красота, скажу я вам, неземная!

Сказывали местные лопари, что, когда строительство храмов (без единого причём гвоздя) было закончено, вся артель плотницкая зашвырнула свои волшебные топоры в озеро, а сами мастера разъехались по разным сторонам. Чтобы, мол, нигде больше такой красоты никто повторить не смог.

Но только эти басни, что без единого гвоздя, полная чепушня! А я вам объясняю: основной четверик, да, не спорю, срублен идеально, как положено, в полдерева. И прирубы тоже. А кровля-то чешуйная на куполах – вся на гвоздях как миленькая! Своими глазами видел, своими руками щупал».

Может, и привирал чего старый Артемий, а может, и правду говорил, откуда нам знать? Мы там не были. За что купили, за то и продаём.

Ну, стало быть, дальше.

Идете вы и любуетесь. Верно, нельзя не залюбоваться! Много раз приходилось взбегать по различным крылечкам, а вот по такому хочется взойти неторопливо. Сами широкие ступени путь удлиняют и располагают к неспешности. А столбчатые опоры винтового точения хочется огладить ладонями. Подумаешь да и станешь ли говорить в этом доме по пустякам?

Или вот. В другой избе это чердачное слуховое окно, а тут – чуть ли не мезонин. Даже балкончик есть. И что, хоть на него и ступить нельзя, а в мезонине одни веники сохнут? Зато какой вид снаружи!

Сможете ли представить себе вот эту кружевную ставню болтающейся на одной петле и скрипящей заунывно? Или, взявшись за дверную ручку в форме лошадиной головы с гордо выгнутой шеей и отворив массивную филёнчатую дверь, посмеете ли войти, не сняв шапки?

А замысловатой вязи карнизы? Коньки? Флюгеры? А тематические орнаментальные фризы? Кружевные церковные врата? Резной иконостас? Безграничное раздолье для неуёмной фантазии остро заточенных резцов!

И когда истаивающая дымка раннего утра, изорвавшись об игольчатый иней уйдёт вослед за ночью, когда лёгкий снежок, павший на каждый завиток наличника, на каждую фасочку конька, на каждую прорезь, выемку, выборку перил, на фигурные рамы, карнизы, на гладкие, шлифованные округлости балясин и даже на острия палисадников. Когда это холодное, белое кружево заискрит голубыми огоньками от первых солнечных лучей, выживая из узора холодные рассветные тени, тогда…

тогда даже ждёшь какого-то чуда!

Словно вот-вот полыхнёт сказочное поселенье дробным голубым пламенем и, скрутившись в лёгкий, как взмах платка, дымок, растает в алеющей заревой вышине.

И будет яркое солнце, и обыкновенные избы с резными наличниками, и вороньё, и торная дорога с расклеванным по ней конским навозом. Но это будет уже потом, когда солнце встанет в полный рост.

А пока может статься, что как раз в этот рассветный час, человек, дивившийся на творение рук своих, впервые добавил к имени родной своей Пожни, выдох восхищения – Дивная…

В один из дней Степан, виновато кособочась, пришёл в столярку, поздоровался, сел на край верстака и закурил, подставив под цигарку ладонь. Ему молча разрешили, хотя такие поблажки были не в ходу. Степан поискал глазами среди мужиков и сказал глуховато:

– Ты, что ль, Ефрем, на детском саду трудишься?

– Я что ль, – в тон ему ответил Ефрем и улыбнулся. – Напарником?

– Точно так. Куда я без тебя? – Степан слез с верстака и тоже просветлел лицом.

– Ну вот, ядрён корень, наконец-то, – с назиданием в голосе проговорил Ефрем и протянул руку. – Отгулял, значит? А то, понимаешь, никуда ведь дело не годится. Связался черт с младенцем. Всю её, эту заразу, как не упирайся, не выпьешь. Сам ведь знаешь, что нету молодца побороть винца!

– Да, хватит уже, Ефрем, – оборвали его мужики, загалдев. – Легко тебе морали читать, когда сам по хворости не потребляешь.

Все поднялись и поздоровались тоже, будто каждый хотел подержать Степанову ладонь в своей, будто проверяли, годна ли она для такой работы, не потеряла ли уверенности, не сточила ли рабочих мозолей похмельная испарина. Но рука его была сухой и твердой.

Ефрем со Степаном шли на работу по главной улице, по сути единственной на селе. Вдоль неё тянулись проснувшиеся дома, запуская в небо вертикальные утренние дымы. Ниже, к речке, уже огородные плетни, а еще ниже – пойма. Под одним на двоих с рекой снежным одеялом и дымящейся округлой прорубью, что становится на Крещение Господне Иорданью.

С тех давних времён и повелось, что каждый едва срубленный дом хозяин «обряжал» сам. Сам рисовал трафареты, резал шаблоны, строгал фигурные рамы, «выбирал» на наличниках узорочьё.

И чтоб не так, как у всех. И чтоб позаковыристей, то бишь покрасивее. Непохожесть, неповторимость резьбы была делом принципиальным.

Правда, некоторые дома ушли в войну «голобокими». До войны у хозяина руки не дошли, а с войны не довелось вернуться. Но все равно, перетянув через лихие годины, вдовы собирали «помощь» и справляли на избу резной наряд. Без него было негоже, как негоже было выйти на покос в грязной рубахе. Чаще звали Ефрема, всеми признанного мастера, а потом и Степана. И глаз молодой, и рука твердая.

– Чего-то ты, Ефрем, на Анисьином дому вроде карниз закосил? – спрашивает Степан, бросив взгляд в сторону.

– «Закоси-ил», – обижается Ефрем. – Сам, наверное, ещё косой, так и всё по тебе косое.

– Закосил, закосил. Я ведь вижу.

– А чего же тогда ты, такой прямой, на Катеринины ворота не глядишь, а? Одна воротина снег до земли скребёт, а тебе хоть бы хны?

– Приехали! Ну а я-то здесь при чём? Я ведь только полотна вязал да резал орнамент. Вот.

– Вот тебе и вот! Напряла баба мот! А распутывать деда зовёт.

– Погоди, тебе говорят! Я-то тут при чем? Сам ведь знаешь, кто столбы ставил! Мои-то только полотна…

– Худому танцору завсегда…

– Да стой ты, ворона чертова! Сел столб-то один! Понимаешь? Се-ел! Дать вот разок по клюву-то, чтоб не разевал его.

– Дура-ак! – заорал ему прямо в лицо Ефрем. – Кто первый начал меня подъелдыкивать? – щека его со шрамом начала дергаться. –
Фаши-ист!

– Ну, ладно, ладно, Ефрем, – спохватился Степан. Он знал, чем это может у Ефрема кончиться. – Ладно, извини.

– Столб-то сел, а ты не с той ноги встал? – не унимался Ефрем.

– Ну, извини, говорю, ну!

– Извини его, дурака…

Долго шли молча.

– Ты мастер, – успокаиваясь, наставлял напарника Ефрем, – и должон быть в ответе, поглянется ли людям работа, когда она сделана. Будь то хоть дом, хоть ворота, хоть черенок к вилам. К чёрной рубахе, однако, белую заплату пришивать не будешь? Не будешь. Так и тут. Остерегись вдругорядь брак своей резьбой закрывать. А то, небось, торопился деньги быстрей сорвать да и нанял кое-кого столбы ставить. Кое-кто и сработал кое-как.

Ты, Степша, помни: деньги, они ещё никогда дороже людского благодарения не стояли. И не встанут никогда. Вот за это ты будь спокоен, ядрен корень.

Чего там директор-то?

– Та…

– А чего тебя в город носило?

– Да за красками, – неожиданно для себя вдруг сказал Степан и, спохватившись, умолк.

– За какими красками? Мы же резьбу отродясь не мазали? Окромя как олифой да лачком.

– Стало быть, есть чего мазать, – буркнул Степан и, прекращая разговор, попросил: – дай-ка спички.

«Крышу? Может, полы, – подумал Ефрем, – да только какой же олух зимой чего красит…» – но промолчал и протянул Степану коробок.

Здание нового детского сада было уже выведено под конёк. Стены из доброго соснового бруса слезились смолою, янтарными высверками вспыхивали на ясном морозце. Леспромхозовский брус был и вправду хорош.

«Чистое масло, хоть на хлеб намазывай», – говаривали плотники.

Степан с Ефремом походили вокруг сруба, похлопали его по лоснящимся бокам, позаглядывали в окна, запотевшие от пробных протопок, и присели на крыльце.

Большое дело открывается обыкновенно хорошим перекуром.

Решили начинать с фронтона. Ефрем прутиком рисовал на снегу узор, Степан же нетерпеливо смазывал его шапкой, отбирал прутик и рисовал свой. Прутик переходил из рук в руки, но нет, не нравилось. Получалось или похоже, или простовато, или слишком уж вычурно.

Ворона, косившая на них с дерева, никак не могла понять, чего хотят эти два спорящих до хрипоты человека. Наконец, когда Степан в сердцах хряснул прутик об колено, она понимающе каркнула, напугав Ефрема, и слетела.

Молчали долго. Думали. Но надо ведь и за дело браться.

– А вот знаешь ли ты, Ефрем свет Васильевич, – вдруг мечтательно заговорил Степан, – кто здесь жить-то будет?

– Как это кто? Известно, ребятишки…

– Тогда, – негромко и серьезно проговорил он, – рота, за мной!

И, глядя мимо напарника и сквозь всё на свете, целиной, кроша сапогами наст, пошагал в дом. Рывком достал из кармана тетрадку. Ефрем было вытянул ему из-за уха карандаш, но тот отмахнулся и полез в поддувало. Добыл там острый уголёк и, занеся руку над распластанной тетрадью, на мгновение прикрыл глаза, будто трудно вспоминал то, что знал очень-очень давно.

Но тут же несколькими плавными движениями от сгиба вправо вывел непонятную загогулину. Ещё штрих. Ещё. Вот тут немного. И здесь чуток. Так. Захлопнул тетрадь и прогладил ребром ладони обложку. Поднялся с колен и, отирая шапкой вспотевший лоб, сказал хрипло:

– Открывай.

Узор, нарисованный Степаном и отпечатавшийся на другом листе, изумил присевшего рядом Ефрема. Кто-кто, а уж он-то понимал, что здесь есть. Сквозь грязные разводы он видел уже весь фронтон. И не обычный треугольный, но арочный. Именно такой фронтон делает здание монументальным и отличным от остальных. Перед ним лежал развернутый полусферический сегмент солнечного круга, полный еще невидимого стороннему глазу тонкого сочетания контурной и плоскорельефной манер резьбы. Смазанный и нечёткий эскиз настоящему мастеру говорил многое. Ефрем совладал с восхищением и сказал просто:

– Ну вот, ядрён корень. – И, стараясь не сдуть крошки угля, осторожно встал. – Только тут, я чую, покорпеть придётся…

Два мастера долго смотрели на этот куцый набросок, ползали вокруг него на коленях, стукаясь лбами. Приседали около, отходили и снова подкрадывались, споря и соглашаясь. Замолкали в раздумье и мечтательно глядели на рисунок сверху.

Странная сцена, если смотреть со стороны.

К ранней весне строительство здания детского сада было закончено, а в районной газете даже поместили снимок. В резной беседке сидят улыбающиеся ребятишки, пока ещё в шапках и варежках. Мутная такая фотография, но некоторых узнать можно.

Степан, прихлебывая на кухне чай, полюбопытствовал, какие картины идут в райцентре, а также кто там кому и что продает. Как, оказывается, много в нашей жизни ненужного! Отложил газету на подоконник и как бы крадучись, медленно отворил дверь в свою комнатушку.

С некоторых пор каждый раз, заходя к себе, Степан испытывал уже привычное, но до конца не ясное чувство. Поднимающийся из души какой-то азарт, что ли. Волнение, ранее ему неведомое. Будто бы он своевольно, набравшись наглости и тайком от людей, взялся за дело, вершить которое дано лишь небожителям, от Бога наделённым даром владения кистями и красками.

Своей причастности к этому сословию живописцев Степан, конечно же, не допускал.

Хотя… и надежды не отбрасывал.

Он включил свет, сдёрнул с собственной работы мольберта простыню и застыл, вглядываясь в полотно.

На холсте оживала картина морского сражения. Русский флагманский фрегат брала на абордаж турецкая саранча в коротких красных жилетах на круглых животах и красных же фесках с черными кисточками.

Турки, держа в зубах кривые ножи, забрасывали абордажные крючья на правый борт и прыгали на палубу, срываясь в пенную воду залива. Увлекаемые на дно широченными шёлковыми шароварами, полными солёной забортной воды, они оставляли на поверхности, как поплавки, лишь свои фески красного войлока.

Три наших судна поменьше отчаянно палили со своих орудий, тесня и отрезая вражеские посудины. Ядра, не достигнув корабельных бортов, плюхались в воду, вздымая тут и там фонтаны брызг. Чуть в стороне уходил в морскую пучину пылающий турецкий линкор.

При абордажных маневрах трещали, ломаясь, весла у галер и отворялись течи. За рваные обломки корабельной обшивки и срубленные взрывами мачты в последней надежде цеплялись тонущие люди. Дымы от горящих судов смешивались с дымом корабельных котлов, раскочегаренных до бешеных оборотов.

Чесменское, брат ты мой, побоище!

Сражение это до поездки в город за художественными красками виделось Степану несколько облегчённым, что ли. Не ощущалось победного триумфа русской эскадры и, напротив, обречённости и пораженчества турецкой флотилии. Битва не отвечала названию битвы. Бой виделся каким-то квёлым, игрушечным, что ли.

А на фоне безмятежно-голубого неба и ярко зелёных береговых холмов это впечатление становилось ещё явственнее. Но привезённого из города ультрамарина, темного кобальта и сажи газовой было довольно, чтобы нагнать на полотно батального драматизма.

Степан был доволен законченной работой и теперь, разглядывая картину при различном освещении, думал о том, какой бы ей приличествовал багет. Вот тут и постучали в окно.

За стеклом маячила мальчишеская румяная физиономия:

– Кочуров! – кричал посыльный.

– Ну!

– Давай к директору, срочно!

– Чего такое вдруг?

– А я откуда знаю. Давай, говорит, его быстро сюда!

– Зачем? – автоматически спросил Степан, но того уже и след простыл.

В директорском кабинете сидели трое: сам директор, сбоку вертел в руках шапку Ефрем, а напротив, чуть откинувшись, – незнакомый мужчина
в распахнутом пальто. Перед незнакомцем лежала муругой масти шляпа и красная, на молнии, папка для бумаг.

– Ну, вот, ядр… кхм. Вот он, – встрепенулся Ефрем, завидев вошедшего Степана, – вся работа, считай, его. А я и проболел чуть не ползимы. – Ефрем сел обратно, спрятав ушанку промеж колен.

– Знакомьтесь, Павел Иванович, – показал на Кочурова директор, усталый худой мужчина в мешковатом пиджаке. Приезжий, улыбаясь, встал, протянул Степану руку, скороговоркой представился: – Коростелёв, областное управление культуры. – И, обращаясь уже ко всем: – Вот по какому делу, товарищи, хотел бы я с вами поговорить. У нас в областном центре организуется выставка народного творчества. Вы, безусловно, знаете…

Ефрем со Степаном, безусловно, не знали.

Потом ходили по улицам. Мужчина, придерживая шляпу, разглядывал дома, Степан с Ефремом путано и трудно объясняли. Одно дело работать, другое – объяснять, как это делается. Мужчина сфотографировал несколько деталей узорчатой резьбы и сказал, прощаясь:

– Значит, договорились: наличник с дома номер шесть, конёк с дома номер двенадцать, оттуда же центральный кусок орнаментального фриза, элемент фронтона детского сада, фрагмент рамы с вашей, Ефрем э…

– Васильич, – подсказал Ефрем.

– …Ефрем Васильевич, веранды, так? Ну и всё, похоже? Ах, нет, нет! Ещё узор с ворот дома номер шестнадцать и винтовую балясину. Вот теперь всё.

Он пожал обоим руки и двинулся к машине, потасканному грязно-голубому «Москвичу».

И вот тут Степан, наконец, решился. В два прыжка он догнал мужчину и, задыхаясь от внутренней смуты, заговорил:

– Это, гражданин, Иван… чеевич... Павлович, хотите показать, нет, не показать, а посмотреть. Ну, чтобы это, как его… – Тут Степан споткнулся и, как в омут с головой, отрубил. – В общем, картина у меня. На днях закончил.

– Картина?

– Ну да. Баталия. Хочу, чтоб поглядели.

– Ба-та-лия? – Коростелёв с явно возросшим интересом разглядывал Степана. – Занятно. Очень занятно, очень.

– И я говорю, – Кочуров немного осмелел. – Вот прицепились, резьба, резьба! Такая же самая обыкновенная работа. Что лес валить, что хлеб сеять, что и ставни резать. Так как мы с Ефремом, у нас мужики через двух на третьего могут! Что же теперь – давайте каждый дом на выставку?

– Да вы что говорите? Мы ведь только у вас двоих работы берём! Это же истинное искусство!

– Да ну… – Степан уже начал ругать себя за то, что вылез с этой картиной, но таки спросил глухо напоследок: – Не поглядите?

– Конечно, конечно, – заторопился мужчина и взял Степана за рукав.

Когда вошли в дом, Степан снял с мольберта пачканную кистями простыню. Поставил картину на кровать, привалил к стене и отошёл, комкая тряпку. Его трясло.

Коростелёв сложил руки на груди. Погладил подбородок. Почесал переносицу. Распустил у галстука узел. Мельком глянул на окаменевшего Степана, подвинул себе стул и сел напротив холста. Оба долго молчали, и каждый молчал о своём.

«Он что же, всерьёз думает, что это живопись? Нет, я чувствую здесь претензию, но совсем не вижу приверженности к какой-либо манере письма».

«Чего он молчит-то? Может, он в живописи и не понимает, а только по дереву спец?»

«И к примитивизму это нельзя отнести. У этого направления свои законы жанра. Это лишь дилетанту кажется, что там всё просто. Не кажи “гоп”, милый ты мой!»

«Молчит. Тоже мне, учёный – баклажан мочёный».

«Ну зачем было браться покорять уже взятые вершины? Пытался копировать кого-то из маринистов. Панина? Хаккерта? А с Айвазовским разве реально тягаться?»

«Не нравится, что ли? Так возьми и скажи, сколько можно?»

«Сказать ему правду? Обидится, не станет экспонаты резать. Выставка побледнеет. Похвалить? Дойдёт до наших, меня же и обвинят в профнепригодности. Хвалил, мол, такую мазню».

«Ты чего, ночевать тут собрался? Что не так-то, скажи, да и делу конец!»

Коростелёв, скосив глаза, посмотрел на Степана ещё раз. Тот стоял белый, рот приоткрыт, нижняя губа прыгала. Смотрел в пустоту и ждал.

Надо было что-то сказать…